
Макс Вальвор
Партия для двоих

Макс Вальвор
Партия для двоих

https://litres.ru/74821234
SelfPub; 2026

Аннотация

Молодой лондонец получает письмо от дяди, которого не видел двадцать лет. Старик болен, одинок и просит приехать — не ради денег и не ради прощания. Ради партии в бильярд.

Но в Годфри-холле его встречают завешенные зеркала, остановившиеся часы и слуги, которые знают больше, чем говорят. Дядя умирает за три часа до приезда племянника. А в кабинете, под счетами, лежит книга, которую лучше было бы не открывать.

Теперь у наследника есть дом, земли, капитал — и год, чтобы понять, что за партия была назначена на семнадцатое октября. И почему в этом доме никто не возвращается прежним.

Готическая повесть о наследстве, которое слишком велико, и о цене, которую назначают за то, чего не просил. Для тех, кто любит «Поворот винта» и старые дома, в которых слишком тихо.

Содержание

ПРОЛОГ 5
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 7
Глава 1. Завешенные зеркала 7
Глава 2. Дольше, чем я ожидал 12
Глава 3. Ключ без отверстия 16
Глава 4. Книга под счётом 20
Глава 5. Слово «Гроб» 24
Глава 6. Недостроенный стол 27
ДЕНЬ ВТОРОЙ 32
Глава 7. Теодор не вернулся 32
Глава 8. Никто не возвращается 35
Глава 9. Каждый теряет себя по-своему 38
Глава 10. Белая лента 40
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Макс Вальвор
Партия для двоих

Мисс-кью (miscue) —ошибка при ударе, когда кий соскальзывает с шара.

ПРОЛОГ

Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твоё, да пребудет Царствие...

Святой отец, я не могу в полной мере исповедаться или покаяться, ибо не уверен, согрешил ли я. Я не срывал плода с древа познания. Но я его поднял. И теперь знаю то, чего не хотел бы знать. А где добро и где зло — не различаю.

Вы были там, святой отец. На похоронах. Вы читали заупокойную. Вы сказали мне: «Если понадобится духовное утешение — приходите». Я пришёл.

Но вы не знаете, с чего всё началось. И я расскажу. Не для того, чтобы оправдаться, — я не знаю, нуждаюсь ли я в оправдании. А для того, чтобы кто-нибудь — хоть кто-нибудь — меня выслушал.

Мой дядя, сэр Годфри, никогда мной не интересовался. Моя мать, его сестра, умерла, когда я был ещё ребёнком. Отец — спустя несколько лет.

Я унаследовал скромный капитал, достаточный для жизни в Лондоне, но не более. Дядя не присутствовал на похоронах матери, не писал отцу, не отвечал на мои редкие письма. Мы не были в ссоре — мы просто не существовали друг для друга. Тем удивительнее было получить от него весточку.

Он написал мне за две недели до смерти. Письмо было

коротким — я помню его наизусть. «Любезный племянник, здоровье моё ухудшилось, доктора не оставляют надежд. Я желал бы видеть тебя в Годфри-холле до конца осени. Ты — мой единственный наследник, и есть дело, касающееся поместья, которое требует твоего присутствия. Кроме того, я надеюсь, что ты составишь мне партию в бильярд. Приезжай семнадцатого октября, не откладывай».

Партию в бильярд. Семнадцатого октября. Я перечитал эти слова трижды. Дядя, который ни разу не вспомнил обо мне за двадцать лет, звал меня сыграть в бильярд — и называл точную дату, как будто от неё зависело что-то важное. Я не знал, что и думать. Решил: старик умирает и хочет напоследок увидеть родное лицо. Бильярд — предлог, неловкая попытка изобразить теплоту, которой никогда не было. А дата — просто день, когда ему удобно.

Я купил билет на поезд.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Глава 1. Завешенные зеркала

Кэб остановился у ворот, и кучер, не оборачиваясь, сказал:

— Дальше не поеду, сэр. Дорога парковая, грязно. Пешком дойдёте.

Я расплатился, выбрался на гравий и взял саквояж. Кэб уехал, и стало тихо. Не та тишина, что бывает в городе между двумя экипажами, — другая, плотная, будто воздух над парком кто-то накрыл стеклянным колпаком. Пахло мокрым листом и дымом: где-то жгли осеннюю листву, и дым тянуло через аллею.

Дорога шла между липами, которые только начали облетать. Листья лежали на гравии, бурые, размокшие после недавнего дождя. Я шёл и слышал свои шаги — хруст, чавканье, снова хруст. Ни птиц, ни собачьего лая, ни голосов. Только ветер в ветвях, шелестящий, как перелистывание страниц.

Я никогда не видел этого дома. Ни разу. И дядю — тоже ни разу. Я знал о нём только то, что он существует, и это знание было таким же далёким и необязательным, как названия

городов, где я не бывал. Мать говорила о Годфри-холле редко и всегда с какой-то странной осторожностью, будто вспоминала не место, а человека, о котором не принято говорить за столом. Всё, что осталось, — несколько её фраз, оброненных в разное время, да смутное ощущение, что Годфри-холл — это не просто дом, а какая-то незакрытая дверь в нашей семейной истории.

Теперь я шёл к этой двери по мокрой липовой аллее и не знал, что за ней.

Дорога кончилась внезапно, и за последними липами открылся дом. Небо над ним было ровное, серое, без единого просвета, — не то, что сулит дождь, а то, что уже не изменится до вечера.

Он был больше, чем я представлял. Двухэтажный, с двумя рядами окон, с фронтоном и широкими каменными ступенями, ведущими к двери. Камень потемнел от времени и сырости, кое-где тронут мхом. Стёкла в окнах тёмные, шторы задёрнуты — все до одного. Ни одного огня, ни одного лица в окне.

Дом стоял и молчал. Не так, как молчит пустое здание, где никто не живёт, — другое молчание. Как будто в нём кто-то был и этот кто-то затаился.

Я поднялся по ступеням. Дверь была высокая, дубовая, с дверным молотом в виде кольца. Кольцо холодное, тяжёлое. Я взялся за него и стукнул. Звук вышел глухим, коротким — дом не отозвался эхом. Я подождал и стукнул снова.

За дверью послышались шаги. Ровные, неспешные. Дверь открылась без скрипа, будто петли только что смазали.

На пороге стоял дворецкий. Прямой, в чёрном сюртуке, с неподвижным лицом — не старым, не молодым, просто лицом. Он смотрел на меня без удивления и без вопроса.

— Сэр?

Я достал визитную карточку и протянул ему.

— Сэр Годфри приглашал меня сегодня.

Он взял карточку, взглянул — коротко, как смотрят на часы, — и отступил в сторону.

— Проходите, сэр.

Я переступил порог, и дворецкий, не спрашивая, принял у меня шляпу и саквояж. Пальцы у него были сухие и холодные; мокрый воротник плаща он взял так, будто тот был сухим.

Холл был высокий, с двумя лестницами по сторонам, сходящимися на верхней площадке. В глубине, за широким проёмом, виднелся внутренний дворик: каменные плиты, кусты, несколько листьев на плитах — убирать ещё не стали. Пол под ногами был каменный, холодный; шаги по нему звучали коротко и сухо, будто кто-то стучал костяшками пальцев по столу.

Шторы на окнах были задёрнуты среди дня. Плотные, тёмные, они не пропускали света, и холл жил в сером сумраке, в котором лица казались бледнее, а тени — длиннее. На столике у стены стояли хризантемы, белые, с чуть пожелтев-

шими краями. Пахло воском.

Я поднял глаза. Над камином висели часы. Стрелки стояли. Я подумал: сломались. Потом увидел зеркало в простенке — завешенное чёрным. Другое, дальше, — тоже. Третье, у лестницы, — тоже.

Я не понял. Решил: чинят или берегут от пыли. В доме, где давно не принимали гостей, могло быть что угодно.

Дворецкий закрыл за мной дверь. Щелчок замка прозвучал в тишине неожиданно громко.

— Увы, сэр, — сказал он. — Сэр Годфри скончался три часа назад.

Я стоял среди задёрнутых штор, завешенных зеркал и остановившихся часов — и только теперь понял. Не поломка. Не ремонт. Не пыль.

Траур.

Дом знал о смерти раньше меня. Он был в трауре с того самого мгновения, как я переступил порог, — и я, дурак, видел в этом поломку и нерадивость. Вероятно, я должен был сразу понять. Но я не понял. Я стоял и смотрел на завешенные зеркала, как смотрят на чужие обычаи, смысла которых не знаешь.

— Упокой его душу, Господи, — сказал я.

Больше я ничего не мог сказать. Я не знал его. Знал только, что он существует, — и вот его не стало, а я стоял в его доме, среди его вещей, и не чувствовал ничего, кроме неловкости и холода.

Дворецкий молчал. Он не изображал сочувствия, не опускал глаз. Просто ждал.

— В письме дядя писал о делах, — сказал я. — О том, что требует моего присутствия.

— Вас известят, сэр. — Он помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы пауза не показалась невежливой. — Доктор Лэнг ещё в доме. Он заканчивает бумаги. Не угодно ли пока пройти в столовую?

Я кивнул. Не потому, что хотел есть или сидеть, — просто нужно было куда-то деться. Стоять в холле среди завешенных зеркал и молчащего дворецкого было невыносимо.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Уинтер, сэр.

Он повернулся и пошёл впереди, и я двинулся за ним, слыша, как мои шаги по каменному полу звучат так, будто я стучу в дверь, которую никто не собирается открывать.

Глава 2. Дольше, чем я ожидал

Столовая оказалась длинной, вытянутой к окну, и пустой настолько, что шаги по паркету отдавались от стен. Паркет был тёмный, натёртый, с широкими досками — такие делали в старых домах, где пол клали на совесть и рассчитывали на века. Я шёл по нему и слышал каждый свой шаг, хотя старался ступать тихо.

Впрочем, вы там были, святой отец. А вот я видел столовую впервые.

Стол стоял вдоль окна — длинный, дубовый, на двенадцать персон, а то и больше. На нём лежали бумаги, чернильница, перо и тяжёлое пресс-папье из тёмной бронзы, ручка которого была потёрта до блеска, будто к ней прикасались тысячи раз. За столом, у самого окна, сидел человек и писал.

Он не поднял головы, когда я вошёл. Скрип пера был сухой и частый — стальное перо, не гусиное. Пахло чернилами: резко, с металлической ноткой, и этот запах перебивал даже воск из холла.

Я сел напротив. Стул оказался тяжёлым, с высокой спинкой, и я почувствовал, как она упирается мне в спину. В окно был виден сад: серая трава, скамейка между двух деревьев, дорожка, несколько листьев на ней. Деревья стояли с пожелтевшей, ещё не опавшей, листвой, и ветер, который я

слышал ещё на аллее, здесь не был слышен — только виден: по тому, как перебирались листья на дорожке, с места на место, без цели.

Доктор дописал строку. Положил перо. Взял пресс-папье — медленно, привычно — и прижал к написанному. Потом отложил пресс-папье и только тогда посмотрел на меня.

Маленькие круглые очки в тонкой оправе. Стёкла чистые, но за ними глаза казались чуть увеличенными, и от этого взгляд был внимательнее, чем, возможно, хотел казаться. Руки чистые, без колец, с коротко остриженными ногтями. Он снял очки, протёр их платком — не торопясь, будто это был ритуал, — и надел обратно.

— Доктор Лэнг, — сказал он.

Я представился в ответ и спросил:

— От чего умер дядя?

Он помолчал. Столько, чтобы ответ прозвучал не сразу, а как следует.

— Порок сердца. Сердечная недостаточность, если угодно. — Он говорил ровно, как называют погоду за окном. — Смерть могла наступить в любой момент. Месяц назад. Полгода. Он прожил дольше, чем я ожидал.

Он снова взял перо, но не писал — просто держал, как держат что-то привычное, что помогает думать.

— Он не говорил, что у него есть родственники, — добавил доктор. — Вообще мало говорил о себе. О семье — почти ничего.

Я не знал, что на это ответить. Сказать, что мы не были в ссоре? Что мы просто не существовали друг для друга, как я уже сказал это вам? Это звучало бы как оправдание, а оправдываться было не в чем.

— Я давно лечу вашего дядю, — продолжил доктор. — И соседей: Нэшей, Торнтонов. Думаю, они придут проводить его в последний путь. Вы с ними познакомитесь.

Он сказал это так, будто предупреждал о погоде, которую нельзя изменить. Я кивнул. Нэши и Торнтоны были для меня именами, не более. Люди, которые жили здесь, рядом, и знали дядю лучше, чем я.

Доктор поднялся. Начал складывать бумаги в портфель — аккуратно, по одной, не спеша. Бумаги были плотные, и когда он их складывал, они шуршали сухо и чётко.

— Бумаги я передам сам. Мне как раз нужно в город.

Он закрыл портфель. Замок щёлкнул коротко, как щелчок замка в холле.

— Если я вам понадоблюсь, прислуга знает, где меня найти. С радостью стану вашим врачом. — Он посмотрел на меня прямо и спокойно. — И ещё, сэр. Вы выглядите усталым. Дорога, известие. Советую поесть и отдохнуть. Ближайшие дни будут трудными.

Он взял портфель и вышел в холл. Я слышал, как его шаги удаляются по паркету, и как он говорит громко, не оборачиваясь:

— Уинтер, я закончил с бумагами. Закройте за мной.

Дверь в холле открылась и закрылась. Стало тихо.

Я остался в столовой один. За окном по дорожке ходил ветер, и листья перебирались с места на место. Я сидел и смотрел на них, и думал о том, что доктор сказал: «Он прожил дольше, чем я ожидал». Странная фраза. В ней не было ни сожаления, ни удивления — только констатация. Как будто дядя должен был умереть раньше, но почему-то не умер. Как будто смерть задержалась, а потом всё-таки пришла.

Вы, святой отец, вероятно, думаете, что я должен был спросить больше. О том, как это случилось. О том, был ли он один. О том, что он говорил в последние дни. Но я не спросил. Не потому, что не хотел знать, — потому что не знал, имею ли право. Я не был ему близким человеком. Я был наследником. А наследник, который задаёт вопросы о смерти, звучит как человек, который проверяет, всё ли ему досталось.

Глава 3. Ключ без отверстия

За спиной раздался голос — негромкий, ровный, без вступления.

— Сэр. Уинтер поручил мне ввести вас в курс дела. Пойдёмте.

Я обернулся. У двери стояла женщина в тёмном платье, прямом и простом, без украшений. Старая — по-настоящему старая: глубокие морщины у рта и вокруг глаз, кожа обтянула скулы, седые волосы гладко зачёсаны назад. Такие лица запоминаются сразу — не красотой, а чем-то окончательным, будто время уже сказало своё слово и менять его не собирается.

В руке она держала связку ключей — тяжёлую, старую, с бородками, стёртыми до блеска. Один ключ в связке не был: она держала его отдельно, зажав между большим и указательным пальцем. У него в головке не было отверстия, и на кольцо его надеть было нельзя.

— Миссис Блэквуд, — представилась она. — Пойдёмте, сэр.

Она повернулась и вышла, не дожидаясь ответа. Я поднялся и пошёл за ней.

Мы вышли в холл. Теперь я увидел, откуда шёл запах воска: свечи стояли в канделябрах вдоль стен, высокие, тонкие,

и воск оплывал на подставки. В холле было холодно. Камень под ногами, дерево перил, воздух — всё было холодным, будто дом не топлен давно. Шаги по камню звучали коротко и сухо, и после каждого шага тишина смыкалась плотнее.

В холле у столика она на секунду остановилась — поправила хризантему, у которой уже подсох край лепестка, — и пошла дальше, не меняя шага.

Мы шли по коридорам, и она говорила. Негромко, без пауз — о расходах на уголь, о крыше, которая требует починки, о доходах с фермы, о том, что арендатор просит отсрочки, о садовнике, который уходит и которому нужна замена.

Она говорила об этих вещах не как о чужих, а как о своих, и говорила так, будто делает это давно.

Библиотека была на первом этаже. Миссис Блэквуд выбрала ключ из связки, и ключи звякнули. Замок щёлкнул. Она толкнула дверь.

— Библиотека, сэр. Ваш дядя проводил здесь вечера. Книги в порядке, каталог есть, но я не уверена, что он полон.

Я заглянул внутрь. В проёме, в свете свечи из холла, виднелись ряды корешков — тёмных, с золотым тиснением. Пахло старой бумагой.

— Я оставлю её открытой, — сказала миссис Блэквуд. — Если понадобится, зажжёте свечи сами. Спички на каминной полке.

Мы прошли дальше по коридору. Где-то в стороне была кухня — я слышал глухой стук посуды, — и людская. Дверь

в людскую была прикрыта.

— Прислуга, сэр, — пять человек, — сказала миссис Блэквуд, не поворачивая головы. — Живут в людской. Без нужды на глаза не попадаются. Если понадобятся, я передам.

Вы представляете, святой отец? Пять человек. Дом был полон людей, которых не было видно, и от этого тишина в нём казалась ещё плотнее.

Мы прошли по кольцу коридоров, снова вышли в холл и поднялись по левой лестнице. На втором этаже Миссис Блэквуд остановилась у одной из дверей и отперла её.

— Ваша спальня, сэр. Саквояж уже там — прислуга внесла его, когда вы прибыли.

Комната была небольшая, чистая. Кровать, шкаф, умывальник, стол у окна. Шторы задёрнуты. Пахло свежестью — её проветрили, — и холодом. Саквояж стоял у кровати.

— Если нужно что-то ещё, — сказала миссис Блэквуд от двери, — позвоните. В людской есть звонок.

Я кивнул. Она помолчала.

— Кабинет вашего дяди — дальше по коридору. Я провожу.

Миссис Блэквуд остановилась перед дверью в конце коридора. Дверь была тяжёлая, дубовая, с ручкой из темного дерева.

— Кабинет, сэр. — Она отперла её. — Бумаги на столе.

Она повернулась и посмотрела на меня — прямо, внимательно, будто проверяя, понимаю ли я, что за этой дверью.

— Если позволите, я вернусь к своим обязанностям. Уинтер проводит вас к ужину.

И пошла обратно по коридору — бесшумно, как и пришла. Я слышал, как звякнули ключи у неё в руке, и как стихли её шаги.

Глава 4. Книга под счётом

Я открыл дверь и вошёл.

Кабинет был небольшим — теснее, чем я ожидал. Юго-восточный угол; окна на обе стороны - небо серое, без единого просвета. Свет из них ложился на стол и не давал теней. В таком свете всё кажется плоским — и предметы, и люди.

Письменный стол стоял у окна. На нём — бумаги, чернильница, перо, пресс-папье. Всё в порядке, всё на местах, будто хозяин вышел на минуту. Кресло — кожаное, с высокой спинкой, с потёртыми подлокотниками. Полки вдоль стен: папки, книги, корешки тёмные, с золотом. На полках лежала пыль — ровным слоем, давняя. На столе пыли не было: стол вытерли. Или за ним недавно сидели.

Свеча в подсвечнике у чернильницы стояла незажжённой. Фитиль был чистый, белый — её не зажигали давно, а может, никогда.

Я подошёл к столу. Постоял. Потом обошёл его и сел в кресло.

Кресло приняло меня, как принимают чужого: вежливо, но без тепла. Кожа была холодной. Я положил руки на подлокотники — и вдруг, сам не знаю почему, оттолкнулся и подпрыгнул. Раз. Другой. Пружины скрипнули, кресло качнулось.

Каюсь, святой отец: я прыгал в нём, как мальчишка. Я только что узнал о смерти человека, которого никогда не знал, и я прыгал в его кресле, как прыгал бы в отцовском, если бы у меня оно было. Это было не веселье. Это было что-то другое — я почувствовал под собой тяжесть, кожу, дерево, и понял: это моё. Всё это — моё. И тотчас же перестал. Мне стало стыдно — не перед кем-то, перед собой.

Теперь я сидел тихо и смотрел на бумаги.

Их было много. Письма, счета, прошения, расписки. Я взял верхний лист — счёт за уголь. Отложил. Второй — прошение арендатора об отсрочке. Это я прочёл внимательно: тот самый арендатор, о котором говорила миссис Блэквуд. Просил подождать до Михайлова дня. Я отложил и его. Третий — письмо от соседа, сквайра Торнтона, о какой-то меже, о заборе, о том, что забор надо бы поправить. Четвёртый — счёт за сено. Пятый — за слоновую кость. Я не стал вникать.

Я просматривал их быстро, один за другим, как просматривают чужие письма, которые тебе зачем-то отдали. Где-то задерживался, где-то нет. И постепенно в голове складывалось то, чего я не хотел: это не бумаги. Это жизнь. Чужая жизнь, разложенная по листам, и теперь она лежит передо мной, и я должен в ней разобраться.

Я взял ещё один лист — кажется, опять счёт, — и под ним что-то было.

Книга.

Она лежала на столе, прикрытая бумагой, — не спрятан-

ная, а просто прикрытая, как прикрывают то, что читают и откладывают на минуту. Формат небольшой, в четверть листа, переплёт тёмный. Я отложил счёт и взял её в руки.

Она была тяжёлая — тяжелее, чем должна быть книга такого размера. Переплёт — кожа, тёмная, почти чёрная, с тиснением по краю. А по центру крышки — вязь.

Я не сразу понял, что это. Линии тонкие, переплетённые между собой, и не было видно, где у них начало и где конец. Одна входила в другую и не выходила. Я провёл по ним пальцем — кожа была гладкой, тёплой, — и поймал себя на том, что пытаюсь проследить хоть одну линию до конца. Не смог. Она уходила в другую, та — в третью, и вязь замыкалась сама на себя, как кольцо.

Я открыл книгу.

На внутренней стороне обложки был наклеен листок — аннотация, напечатанная мелким, аккуратным шрифтом. Я прочёл:

«Описание магических предметов, их изготовление и употребление, а также многое другое, полезное для тех, кто умеет читать внимательно».

Ни имени автора, ни года, ни места издания. Только это.

Я перевернул страницу.

Дальше начинался текст — плотный, ровный, без единого заголовка. Я прочёл первую строку. Вторую. Третью.

И закрыл книгу.

Не потому, что там было что-то страшное. Нет. Там бы-

ло... обыкновенное. Так пишут о вещах, которых не должно быть, — спокойно, точно, как пишут о погоде или о ремонте крыши. И от этого спокойствия мне стало холодно.

Я человек религиозный, святой отец. Я знаю, что такое грех. Я знаю, как он выглядит, когда его предлагают: он всегда предлагает себя спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Эта книга предлагала себя так же.

Я закрыл её и положил обратно на стол. Взял счёт, который лежал сверху, и накрыл её — так же, как она лежала до меня.

Я посидел ещё немного. Потом встал, подошёл к окну.

За стеклом был парк — липы, дорожка, мокрая после дождя. Где-то дальше — липовая аллея, по которой я шёл. Небо было серое, без единого просвета. Я стоял и смотрел, и думал, что завтра, и послезавтра, и через год я буду стоять у этого окна и смотреть на этот парк, и это будет моё, и я к этому привыкну.

Глава 5. Слово «Гроб»

Стук был лёгкий, сдержанный — два удара, не больше. Я не обернулся.

Дверь открылась, и в комнату вошёл воздух из коридора — чуть более холодный, чем тот, что стоял здесь. Шаги. Ровные, неспешные, те самые, что я слышал в холле ещё час назад. Они остановились у порога.

— Сэр.

Я смотрел в окно. За стеклом ничего не менялось: те же липы, та же дорожка, то же небо.

— Плотника нужно предупредить, сэр. Гроб ещё не заказан. Люди заняты.

Уинтер выдержал короткую паузу, затем продолжил.

— В каретной двое мастеров, сэр. Для неких работ. Один из них, Теодор, может сходить.

Гроб.

Я стоял у окна и смотрел на дорожку, и слово это — короткое, обиходное, хозяйственное — вдруг легло на всё, что я видел. Гроб. Значит, тело. Значит, оно здесь, в доме, и его уже обмыли, и оно лежит и ждёт, пока его положат в дерево.

Я бросил взгляд через плечо. Уинтер стоял на пороге — прямой, руки опущены, лицо неподвижное. Он не переминался, не покашливал, не смотрел по сторонам. Просто сто-

ял.

Я отвернулся к окну.

Святой отец, я хоронил отца и мать. Я помню эти дни — не лица, не слова, а именно дни, их порядок: вот я просыпаюсь и вспоминаю, что это уже случилось; вот идут люди; вот пахнет чем-то тяжёлым и сладким; вот я стою и думаю о том, что надо сказать, и не могу вспомнить ни одного слова. Тогда было горе. Не знаю, большое ли, — я был ребёнком, потом подростком, — но оно было, оно заполняло дни, как вода заполняет лодку, и я вычерпывал его, и уставал, и снова вычерпывал.

А теперь я стоял в кабинете человека, который был моим последним родственником, и не чувствовал ничего. Ни горя, ни потери. Только холод кожаного кресла, из которого я встал, — он ещё держался у меня на ладонях, — да вот это слово: гроб.

Я остался последним. Последним носителем фамилии, последним в роду, который был мне не нужен и о котором я не думал двадцать лет. И теперь этот род кончился на мне — или не кончился, а лёг на меня, как ложится на плечи чужая шинель: тяжело и не по росту.

Я снова посмотрел на него. Уинтер стоял там же, в той же позе. Мне показалось, что он не пошевелился за последние несколько минут — ни рукой, ни головой.

— Сэр? — сказал он.

— Далеко до каретной?

— К западу от главного входа, сэр. За кухней.

Я кивнул. И вдруг, сам не ожидая, сказал:

— Я схожу сам.

Уинтер не пошевелился.

— Сэр?

— Я схожу сам, — повторил я. — К Теодору. Заодно посмотрю, что там за работы.

— Как вам угодно, сэр.

Он поклонился — коротко, ровно, — вышел и закрыл за собой дверь. Я слышал его шаги: они удалялись по коридору, неспешные, и постепенно стихли. Дерево двери ещё чуть слышно скрипнуло.

Я постоял, глядя на закрытую дверь. Потом поправил воротник и вышел.

Глава 6. Недостроенный стол

Каретная была к западу от главного входа. Я пошёл по дорожке, которую видел из столовой, — мимо скамейки между двух деревьев, — и вышел во двор. Двор был пуст. Плиты блестели от воды, и в лужах лежали листья — те же, что на аллее, бурые, размокшие. Дверь в каретную была приоткрыта. Я толкнул её и вошёл.

Пахло костяной пылью. Не пылью заброшенного угла — другой, свежей, которую поднимает инструмент. К ней примешивались стружка, лак, масло. В каретной было холодно, холоднее, чем в доме, и свет из окон ложился без теней, как ложился он в кабинете дяди.

Стол стоял по центру — большой, тяжёлый, на толстых ножках, с бортами по краям. Бильярдный. Но он был не готов. Я это увидел сразу: углы и борта оставались голыми, без резьбы, дерево было гладким, необработанным, и в нём не было той законченности, которую глаз ждёт от вещи, сделанной для дома, а не для мастерской.

Я остановился в дверях.

Я приехал играть в бильярд. Я ехал с этой мыслью — неловкой, нелепой, — что старик хочет напоследок увидеть родное лицо и для этого придумал предлог. И только теперь, стоя в холодной каретной, я понял: я нигде в доме не видел

бильярдного стола. Ни в холле, ни в гостиной, ни в библиотеке. А он вот — здесь. Не готовый.

И почему дядя не купил готовый? С его состоянием — почему не выписал из Лондона, не заказал у фабриканта и не поставил в гостиной? Зачем эти мастера, эта резьба, эти голые углы, эта работа, которая ещё не закончена?

Я не знал ответа. Я стоял и смотрел на недостроенный стол, и вопрос, который я задал себе, остался без ответа.

Справа от входа, на куче стружки и опилок, сидел человек. Невысокий, широкий в плечах, в рабочем фартуке, с закатанными рукавами. Лицо у него было мятое, а глаза — красные, но не пьяные, а какие-то усталые, будто он давно не спал или спал плохо. В зубах он держал соломинку и лениво перекатывал её из одного угла рта в другой. От него пахло спиртом — не резко, а так, словно он пил давно и уже не замечал этого. Он сидел, чуть откинувшись на кучу, и говорил — негромко, вполголоса, — и я не сразу понял, кому.

В дальнем левом углу, у стены, у самого окна, сидел второй. Сгорбившись, низко опустив голову, он возился с чем-то маленьким, зажатым в руках. Я слышал звук — короткий, сухой, повторяющийся. Но что именно он держал, я не видел: его руки загораживали предмет, а сам он был далеко, и в сером свете из окна мне были видны только спина, плечи и движение локтей.

Первый заметил меня раньше. Он приподнялся на локте, вынул соломинку изо рта.

— Вы от Уинтера? — спросил он. Голос был хриплый, слегка заплетающийся, но не настолько, чтобы не стоять на ногах.

— Не совсем, — сказал я. — Я приехал сегодня днём, к дяде, сэру Годфри. Но он скончался до моего приезда.

Он посмотрел на меня, и в этом взгляде не было ни удивления, ни сочувствия — только короткая, вялая мысль, которая прошла и погасла.

— Царствие Небесное, — сказал он. И всё. Не перекрестился, не вздохнул. Просто сказал — и снова положил соломинку в рот.

— Вы трудитесь над бильярдным столом? — спросил я.

— Я — да, — сказал он. — А Эдвард — шары точит.

Шары. Я вспомнил счёт, святой отец, который видел в кабинете дяди. Счёт за слоновую кость. Я тогда не стал вникать — мало ли на что старику могла понадобиться слоновая кость. Теперь я смотрел на второго человека в дальнем углу, на его сгорбленную спину, на движение локтей, и понимал: вот она, эта кость. Вот на что она пошла.

— Эдвард у нас мастер, — продолжал тот. Казалось, он наконец нашел того, кто будет его слушать. — Руки — золотые. Только не пьёт. Никогда не пил. Идеальный баланс, говорит. А какой баланс без выпивки? Я бы сказал — идеальный безумец.

Последние слова он произнес громче, с лёгкой дружеской издёвкой, но Эдвард не поднял головы. Он или не слышал,

погрузившись в работу с головой, или не захотел слышать. Звук резца по кости не прекращался.

А Теодор — это был именно он — всё продолжал:

— Основание Уинтер сделал. Говорят, полгода работал. Отличное основание, то, что нужно. А кии барин сам точил. Ночами сидел. Говорил, рука должна чувствовать дерево, — и махнул рукой в сторону.

Я посмотрел туда. Там, прислонённые к стене, стояли два кия — длинные, тёмные, отполированные до блеска.

— Мне нужно, чтобы вы сходили к плотнику, — сказал я. — Насчёт гроба.

Теодор кивнул.

— Схожу.

Он поднялся, постоял, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг сказал — негромко, без нажима, будто просил о чём-то обыденном:

— Сэр. Дозвольте... на дорогу. И ещё чуть — помянуть.

Я достал из кармана монету и протянул ему. Он взял её, кивнул ещё раз и пошёл к выходу, на ходу снимая фартук. У двери он обернулся.

— К плотнику, стало быть.

— К плотнику, — сказал я.

Он вышел. Дверь за ним закрылась не сразу — он придержал её, потом отпустил, и она щёлкнула тихо, будто извиняясь.

Я остался в каретной. Эдвард не поднимал головы. Звук

резца не прекращался. Я постоял ещё немного, глядя на недостроенный стол, на голые углы, на тёмные кии, — и вышел.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Глава 7. Теодор не вернулся

В ту ночь, святой отец, я спал плохо. Даже сейчас я списываю это на усталость, на нервы, на погоду. Мне снилось что-то, чего я не помню; помню только, как просыпался среди ночи и лежал, глядя в потолок, и слушал, как дом молчит. А он молчал ровно, без перебоев, как молчат вещи, которые не спят.

Было около полудня, когда я спустился в столовую — для джентльмена это утро. Свечей не зажигали. Свет шёл из окна: серый, без теней, тот же, что и накануне.

Прошлый раз я видел эту комнату пустой — длинный дубовый стол, бумаги, чернильница, и за столом человек, который писал. Теперь стол был накрыт. Скатерти не было; на тёмном дереве стояли чашка, чайник, блюдо с хлебом и блюдо с холодным мясом. Чайник был простой, фаянсовый. Чашка — белая, без узора, с щербинкой на ободке.

Уинтер стоял у стола. Он не суетился, не переставлял приборы; он просто стоял, и от этого казалось, что он стоит здесь несколько часов.

Я сел. Стул подо мной скрипнул — коротко, сухо.

— Доброе утро, сэр, — сказал Уинтер.

— Доброе, — ответил я.

Он налил чай. Пар поднялся над чашкой и растаял, и запахло мятой.

Я взял чашку.

— Резчик Теодор не вернулся, сэр, — сказал Уинтер.

Я не сразу понял, о чём он. Потом понял. Вчера я сам отправил Теодора к плотнику — за гробом, — и дал ему монету.

— Утром я посылал к плотнику слугу, — продолжал Уинтер. — Плотник сказал, что заказ принят вчера. Гроб будет к ужину.

Я держал чашку. Она была тёплая, и это было приятно.

— А Теодор? — спросил я.

— Его не видели, сэр. Ни у плотника, ни по дороге. Вещи и инструменты на месте.

Я кивнул.

Вот и всё, святой отец. Вот и весь доклад. Человек ушёл и не вернулся; вещи на месте; инструменты на месте. Такое бывает. Люди пьют, люди уходят, люди не предупреждают. Я сам дал ему монету — на дорогу и помянуть.

Я сделал глоток. Чай был крепкий, горячий. И я поймал себя на том, что сижу и радуюсь ему — этому теплу, этому пару над чашкой. Представляете, святой отец? Я сидел в доме, которого не знал, за столом человека, чьё тело ещё находилось в Годфри-холле, и радовался чаю. Не потому, что

забыл. Потому что тело просит тепла, даже когда душа не просит ничего.

Я отпил ещё. Поставил чашку. Дерево стола под ней отозвалось глухо.

За окном был тот же парк: стволы лип, лужа у дорожки, в которой стояло небо. Я смотрел на неё и думал: вот человек ушёл по этой дорожке, и никто не видел, как он ушёл. Может, он и сейчас где-то здесь — за деревьями, в кустах. Может, он спит. Может, он вернётся к вечеру.

— Уинтер, — сказал я. — Дядя приглашал меня играть в бильярд, но стол в каретной ещё не готов для игры. Зачем дяде понадобилось самому делать стол? Разве он не мог его купить?

— Ему так было угодно, сэр.

— Что же, он не контролировал ход работ? Он должен был знать, что стол не готов, и мог пригласить меня позже.

— Мне об этом неизвестно.

— Я вас понял, Уинтер. Я схожу в каретную, — сказал я.

— Как вам угодно, сэр.

Я встал. Стул скрипнул. Уинтер стоял у стены, прямой, с опущенными руками, и смотрел не на меня, а чуть мимо — туда, где за окном стоял серый день.

Я вышел из столовой. Шаги мои звучали по доскам коротко, и тишина шла за мной, не отставая.

Глава 8. Никто не возвращается

Двор встретил меня той же пустотой. Я вошёл в каретную. Здесь было холоднее, чем накануне.

Запах ударил сразу — спирт. Резкий, тяжёлый, будто разлили на полу и не вытерли. Под ним — костяная пыль, которую поднимает резец.

Эдвард сидел на своём месте, у верстака в дальнем левом углу, у окна. Теперь я видел его всего. Небольшой, сухой, узкие плечи, длинные пальцы. Фартук застёгнут косо, будто надевал не глядя. Волосы прилипли ко лбу. Лицо серое, как свет из окна, и на нём ничего — ни горя, ни страха, ни пьяной весёлости.

На верстаке перед ним стояла бутылка. Тёмное стекло, без этикетки — только ободранный уголок, где читалась половина слова, не то «фи», не то «фил». От неё шёл тот самый резкий запах.

Эдвард держал в руке резец. Он не работал. Рука тряслась. Тряслась мелко, часто — как стрелка часов, которую что-то заело. Он положил руку на верстак, чтобы унять дрожь. Дерево отзывалось мелкой дробью. Дрожь не унималась.

Я подошёл ближе. Присел на корточки, чтобы оказаться с ним на одном уровне.

— Эдвард.

Он не поднял головы.

— Вы знаете, где Теодор?

Он медленно повернул голову — не ко мне, а чуть в сторону, будто услышал звук не оттуда, откуда я говорил. Губы шевельнулись.

— Теодор, — сказал он. Голос плоский, без интонации. — Теодор ушёл.

— Куда ушёл?

Он посмотрел на бутылку. Потом на резец. Потом опять на бутылку. Резец ходил у него в руке, и остриё царапало воздух.

— Никто не возвращается, — сказал он.

И замолчал. Не так, как молчат люди, которые ждут ответа, — а так, как молчит вода, когда в неё бросили камень и круги уже разошлись.

Я смотрел на его руки. Они тряслись, и он не мог их унять — ни положить на верстак, ни сжать в кулак. Пальцы держали резец, но не чувствовали его.

— Эдвард, — сказал я. — Вы меня слышите?

Он поднял голову. Глаза мутные, но не пьяные — или не только пьяные. В них было усилие, будто он пытался собрать себя из кусков и не мог найти, с чего начать.

— Шары, — сказал он. — Баланс. Идеал — это смерть.

Он произнёс это как формулу, которую повторял много раз.

— А жизнь всегда с браком. Я не успел.

Он посмотрел на меня, и в этом взгляде было столько тоски, что я отступил на шаг.

— Теперь уже всё, — сказал он.

Я стоял и молчал. Мне нечего было сказать.

Святой отец, я помнил слова Теодора об Эдварде. А теперь стоял и смотрел на его руки, которые тряслись, и на бутылку, и не знал, что сказать ему.

Я отвернулся. И тогда увидел узор.

Он был на основании стола, у самой ножки, куда падал свет из окна. Я подошёл. Пальцы узнали рисунок раньше, чем глаза: та же вязь, что на обложке. Я провёл по линии — она ушла в другую и замкнулась.

Я отнял руку. Посмотрел на Эдварда. Он сидел, сгорбившись, и резец в его руке дрожал. Я хотел спросить его об узоре, но понял, что ответа не будет.

Я вышел из каретной. Дверь за мной закрылась тихо.

Двор был пуст. Я стоял на плитах и смотрел на серое небо. Вчера я видел человека, который не пьёт. Сегодня я видел человека, который пьёт так, будто пил всегда. И между этими двумя днями не было ничего — только ночь. Одна ночь.

Глава 9. Каждый теряет себя по-своему

Листья падали с деревьев — медленно, по одному, будто их отпускали сверху.

На той скамейке, что я видел из окна столовой, сидели они: миссис Блэквуд в тёмном платье и чёрной накидке на плечах, и на коленях у неё — чёрный кот. Свернулся клубком, глаза полуоткрыты. Рядом сидел Уинтер. Прямой, руки на коленях.

Лист отделился от ветки и упал на кота. Миссис Блэквуд не сняла его. Чёрная шерсть и бурый лист.

Я подходил ближе, и ветер донёс голос — негромкий, ровный.

— Один — молча, другой — с песней, — сказала она.

В этот момент я поравнялся со скамейкой. Взгляд миссис Блэквуд не был ни удивлением, ни приветствием. Просто взгляд.

— Каждый теряет себя по-своему, — закончила она.

Уинтер не отвечал. Между ними стояла тишина — плотная, глухая.

Я прошел мимо них. За спиной раздался голос Уинтера — короткий, ровный. Он что-то сказал. Я не разобрал слов.

Я шёл дальше по дорожке.

Глава 10. Белая лента

Весь день, святой отец, я провел в библиотеке, пытаясь читать.

Я взял с полки первую попавшуюся книгу — кажется, историю Рима, — сел в кресло у окна и открыл. Страницы были плотные. Я честно дошёл до второй страницы. Потом поймал себя на том, что смотрю не в текст, а поверх него, на переплет, и пальцем вожу по краю обложки, будто ищу тиснение.

Я закрыл книгу и положил её на колени. За окном стоял серый день, ровный, без теней. Я смотрел в окно на затянутое тучами небо и думал о столе. О голых углах, о бортах без резьбы, о вязи на основании.

Я взял другую книгу. Потом третью. Каждая открывалась на середине, и каждая через минуту лежала закрытой, потому что раз за разом мысли мои возвращались к узору.

К ужину я пришел в столовую. Стол был накрыт на одного. Я сел, и Уинтер подал бутылку рейнского. Свечи горели ровно. В столовой было холодно.

Миссис Блэквуд вошла, когда я допивал вино. Она убирала посуду — не спеша — и, не поднимая головы, спросила:

— Бдение будете проводить сами, сэр? Или прикажете кому-то из прислуги?

— Сам, — ответил я.

Она кивнула и унесла посуду.

Я поднялся к себе, постоял у окна, глядя в тёмный двор. Потом вышел в коридор и пошел не к спальне, а в кабинет.

Книга лежала на столе, накрытая счётом, — там же, где я ее оставил. Я хотел разобраться, как связан заказанный дядей стол с этой книгой. Вязь на основании стола и вязь на обложке были одним и тем же узором. Я не мог оставить это на утро. Я взял книгу и пошел в спальню дяди.

Гроб стоял на двух низких дубовых табуретах. В канделябрах горели свечи, и воск оплывал на подставки. Откуда-то тянуло ладаном.

Стул с высокой спинкой стоял у изголовья гроба. Я сел и открыл книгу.

В ней была закладка — белая атласная лента. Я вынул ленту, положил на колени и посмотрел на страницу.

Здесь было описание бильярдного стола с указанием, сколько мастеров должны его создавать, какие его части. После описания шли особые условия, вспоминая которые мне и сейчас не по себе. Я читал медленно, потому что каждая строка ложилась в голову, как чужая молитва.

Стол, партия за которым дарует сто лет жизни без болезней и старческой дряхлости в обмен на душу — избави нас, Господи, от лукаваго.

Свечи горели. Воск капал на подставки — медленно, по капле. Чернила на странице казались черными, как сажа.

А я вспоминал слова доктора Лэнга, который сказал, что дядя мог умереть в любой момент. Теперь я понимал, зачем он пригласил меня играть — он хотел если не обмануть смерть, то хотя бы отсрочить её.

Я вернулся к тексту. В условиях было сказано, что срок на изготовление стола и начало партии — один год с того момента, как первый мастер прикоснётся инструментом к заготовке. Помните, святой отец, я говорил, будто из дядиного письма мне показалось, что дата выбрана не случайно? Теперь я был уверен в этом.

Дальше в книге говорилось, что мастера, не успевшие завершить свою работу в срок, теряют себя. Я вспомнил слова миссис Блэквуд там, в саду. Теперь я понимал, о чём, вернее о ком, говорила она Уинтеру: Эдвард никогда раньше не пил, а теперь его руки не позволяют ему держать резец, а Теодор – он не пропал, а потерял себя. Потерялся.

Я сидел с книгой на коленях. Свечи догорали, воск застывал неровными натеками. Я не звал Уинтера, чтобы он принес новые, а сидел в темноте, которая становилась гуще, и слушал, как дом молчит. И думал о прочитанном.

К утру в окне показался серый свет. Я всё ещё сидел на стуле у гроба. Книга лежала у меня на коленях, закрытая. А рядом с ней — белая атласная лента.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.